



Военные приключения

Валерий Поволяев

**За год до победы**

«ВЕЧЕ»

**Поволяев В. Д.**

За год до победы / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ», — (Военные приключения)

В основу повести положены рассказы бывшего старшины разведроты Галкина Николая Максимовича, старшего лейтенанта помощника командира полка по технической части Агеенко Юрия Григорьевича, а также моего дяди, бывшего разведчика-мотоциклиста Поволяева Василия Сергеевича, записанные мною в День Победы 9 Мая и последующие дни. Автор

© Поволяев В. Д.

© ВЕЧЕ

# Содержание

* * *	5
1	6
2	11
3	15
Конец ознакомительного фрагмента.	21

## Валерий Поволяев

### За год до победы

\* \* \*

«За время наступления с 4 марта по 17 апреля войска 1-го Украинского фронта продвинулись на 80—350 километров, освободили значительную часть Правобережной Украины, ее областные центры Винницу, Каменец-Подольск, Тернополь и Черновцы, а также свыше 700 крупных населенных пунктов. Войска фронта вышли в предгорья Карпат и совместно с войсками 2-го Украинского фронта разрезали фронт немецко-фашистских войск на две части. Южная группировка врага оказалась изолированной от группировки, находившейся в районе Львова...»

(Из *«Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945»*, том IV, с. 80)

# 1

Лепехин облюбовал себе спальный выступ печки, нагретой до того, что к кирпичам было больно прикасаться, забрался на него, укрылся по пояс шинелью, как одеялом. В хате было шумно – гомонили разопревшие от жары связисты – молодые ребята, каждому лет по девятнадцать, не больше; на гимнастерках – ни медалей, ни орденов, одни только гвардейские значки, а они, как известно, не в пример ЗБЗ, как называют медаль «За боевые заслуги», или, скажем, медали «За отвагу» – удастся из пополнения в гвардейскую часть попасть, вот и получай внушительный, похожий на орден значок.

Связисты пришли часа два назад, вольно расположились в хате, свалив на пол груды телефонных катушек, поели тушенки, которую доставали широким лопатистым ножом прямо из только что открытой высокой банки, потом взялись за карты.

Резались в дамский преферанс, звучно прозванный кингом, – игру древнюю и занимательную, резались ради азарта, но за проигранные очки довольно больно хлестали друг друга сложенными вместе несколькими картами. Либо по ушам, либо по носу. На выбор. По носу ударов делали в два раза меньше.

В углу посверкивал крутящимся черным диском патефон, напевал что-то сентиментальным голосом. Патефон этот отбили у немцев. Фрицы, видно, были любителями сладкой музыки: при патефоне оказался набор пластинок, да каких! Что ни песня – то надрыв, крик души.

Лепехин приподнялся, заглянул в маленькое квадратное оконце, прорубленное в стене рядом с печкой. В оконце был виден развороченный от прямого попадания снарядом бок сарая, обледенелая навозная куча, в которой важно копошилась нахальная одноглазая курица с голыми розовыми ногами, – отрада старика хозяина, называвшего курицу не иначе как Мери – на старинный лад. Да и в самом хозяине было что-то от русских дворян эпохи декабристов – он пересыпал речь давно вышедшими из употребления словами: Лепехина называл «сударь»; обращался к нему: «Не изволите ли отведать чаю, дорогой сударь?» и так далее, а вообще был забавным и безобидным стариком. Часто сбивался на украинскую речь.

Вот уже третий день старик сетовал на пропажу снохи...

– Наша деревня Словцы называется, – говорил он. – Да. А в двадцати верстах, сударь, – хутор. Там мой брат живет, богатым хозяином числится... Немцы хутор стороной объезжали, партизан боялись и хозяина ограбить, как говорится, не успели. Хотя и пытался Гитлер образовать тут, у нас, дистрикт Галичину, а партизан побаивался, да. Впрочем, может, и не поэтому фрицы вниманием хутор обходили... Может, и не поэтому, сударь. Так вот, я и отправил сноху к брату за продуктами. Сноху мою Зинаидой зовут. Поехала она и с собой внучонку Марию, девицу десяти лет, на салазках увезла. Посадила верхом на салазки, да и заявила: здесь война недалеко проходит, вдруг немец опять вернется, лучше уйти от проклятого, говорит, на хутор. Его туда... его, значит, фрица, а туда – значит, на хутор, – наши не пустят. Вишь, какой стратег! А? Прямо Кутузов Михаил Илларионыч!.. Уехала, и все нет и нет... Что бы такое могло случиться, а? Не знаете, сударь?

Он был совсем далек от войны, этот старик, от речей его веяло чем-то домашним, успокаивающим, земным, и Лепехин, улыбаясь и теплея душой, как умел, утешал старика: фронт ушел вперед, фрицы не вернутся и со снохой ничего не случится.

Перед самым приходом связистов дед забрался в старый источенный червями комод, долго рылся в его бесчисленных ящиках, нашел твердый, как картон, лишенный глянца фотоснимок, показал Лепехину.

– Вот она, Зинаида моя. Правда, на меня похожа? Хоть и не дочка она мне, а всего-навсего сноха... Как считаете, сударь?

Лепехин взглянул на розовый и голый, как колено, дедов череп, потом на фотокарточку довольно привлекательной женщины с неторопкими глазами, гладкими скулами, неопределенно покачал головой. Дед воспринял это покачивание однозначно, он сморщил лоб, обнажил в беспомощной детской улыбке стертые корешки зубов.

– Я когда молодым был, знаешь, какое начало собой являл?... Э-э, сударь... – Он зачмокал губами, погружаясь в воспоминания, но быстро пришел в себя, засмутился, спрятал фотоснимок в комод.

– И гдей-то она запропастилась? – будничным голосом запричитал старик. – Мери кормить нечем. Хлеб жалко куре отдавать, но что-то кушать она должна же. Живое существо всежки...

В конце была видна дорога – по ней изредка проезжали тяжелые, неповоротливые тягачи с орудиями на прицепах и сгорбленными от пронзительного весеннего ветра солдатами, застывшими в кузовах. Сновали мотоциклисты и конные, справляли нехитрую воинскую службу. Лепехин ворочался под шинелью, кряхтел и постанывал, но никак не мог уснуть, ныла плохо залеченная нога: зацепило в прошлом году в разведке, когда ходили за «языком». Попал в медсанбат, но через несколько дней наши стали наступать, и он сбежал из медсанбата, несмотря на ругань и требования врачей, а потом уж отлежаться и подлечиться как следует не смог. Не было времени.

Связисты подняли гам страшнейший: партию кинга проиграл здоровенный широкоплечий парень с прыщавым лицом и цыганскими глазами, круглыми, как пуговицы, и черными до непроницаемости, и теперь тройка партнеров – а все трое оказались в выигрыше – готовилась к экзекуции. Парень недоуменно моргал глазами-пуговицами, оглядывался по сторонам с виноватым выражением.

– Готов? – восторженным, высоким от азарта голосом поинтересовался один из игроков.

– По носу бить иль по ушам? Как предпочтешь, рядовой, а? Может, еще каким макаром? По-артиллерийски, с отмашкой? А?

– Хошь, по кормовой части бить будем? Только тебе слегка подразуться надо будет...

Квадратик окна наполнился белым: повалил снег. Густой, набрякший влагой, непроницаемый, он тяжелыми хлопьями ложился на темную, распаренную весенней оттепелью дорогу, серел на глазах, потом стаивал вовсе.

– Ладно... Давай-ка подставляй ухо. Ухо – тоже больно. Особенно если не промажешь.

После первых ударов ухо прыщавого связиста начало наливаться вязкой краснотой, пухнуть. Бьющий сделал передышку, размял карты, сложил их в тугой веер и размахнулся вновь.

– Двадцать три!

– Двадцать четыре!

– Двадцать пять!

– Эт-то что так-кое? – вдруг раздался на пороге хриплый бас, такой мощный, что казалось, будто он не вмещался в комнате, – от баса стекло судорожно всхлипнуло, а ковырявшаяся в навозе Мери подняла голову и, стряхнув с гребешка снежины, настороженно нацелилась в оконце единственным, уцелевшим «после немецкой оккупации», как заявил дед, глазом.

– А ну! Встать! – рявкнул бас.

Лепехин беззвучно рассмеялся. Сейчас пришедший, начпрод роты разведчиков старшина Ганночкин концерт устроит. Василий Ганночкин славился своим умением бесшумно входить в любой дом, незамеченным появляться где угодно; вот ведь не ждешь его, а он, глядь, сидит у тебя за спиной и молча выслушивает, как ты его раскладываешь по косточкам за какую-нибудь немудреную промашку. Но обижаться Ганночкин никогда не обижался, не было еще таких случаев; только рявкал, да иногда, правда, обещал «шкуру спустить», но на этом дело и кончалось. Что же касается умения Ганночкина быть невидимым и неожиданно-негаданно появляться в самых разных местах – говорят, даже одновременно, то, наверное, никто бы не уди-

вился, если бы вдруг обнаружил Ганночкина, к примеру, в мешке с бельем или в ящике с макаронами. Таким талантом обладал старшина... Но вместе с тем Ганночкина и любили. Если в разведку уходили три человека, Ганночкии выдавал харчей на восемь, а соответственно и «наркомовскую пайку» – то горячительное, сорокаградусное, до чего охоч солдат; если же в разведку уходил взвод, Ганночкин не скупился в продуктах на целую роту. Но, несмотря на щедрость, был он предусмотрительным, запасливым, даже когда в соседних ротах, батальонах случались перебои с харчами, разведчики не знали, что такое голод, – по продуктовой части Ганночкин был большим мастаком.

Связисты смущенно поднялись, начали оправлять гимнастерки, загоняя складки под ремень, прыщавый схватился было за ухо, но Ганночкин так на него взглянул, что тот сжался, сдал в плечах.

– Та-ак... Веселимся, значит? Орлы-герои... Вояки голые лопатки. А ну! Смир-рна!

Связисты вытянулись.

Ганночкин подошел к столу, о край раскуроченной полупустой банки вытер лопатистый нож, потом собрал карты, перевернул их, словно проверяя, все ли на месте, подошел к печке.

Кто-то из связистов шевельнулся, но Ганночкин бросил не оборачиваясь:

– Я не давал команды «вольно».

Он отодвинул в сторону кирпич, которым была придавлена жестяная заслонка, брезгливо швырнул карты в огонь, вновь прикрыл печное жерло заслонкой.

– Картишки – это шалость, – вразумительным голосом произнес он, затем, покрутив для остротки головой, начал почему-то говорить шепотом: – Тут фронт, а не детские ясли и не... Не курсы мастеров картежной игры! Шулеров, так сказать. Фокусников – участников художественной самодеятельности. Нет. Здесь фронт, война. Так-то, ловкачи. Серьезнее надо быть. И пора отдавать отчет за свои поступки.

Ганночкин фыркнул и, не глядя больше на связистов, словно они перестали для него существовать, прошел в закуток, где ворочался с боку на бок тщетно пытавшийся заснуть Лепехин.

– Товарищ Лепехин, честь имею! Давай просыпайся... Капитан вызывает. – Ганночкин громко ширкнул носом, потом вытер его пальцами, осмотрел внимательно ладонь. – Отсырел согласно погоде.

– Погода, верно, – отозвался Лепехин. – А насчет просыпа, то просыпаться мне нечего. Я не спал.

– Тем лучше.

Кряхтя, старшина уселся на сдавленно скрипнувший под тяжестью его необхватного тела колченогий стульчик, добыл из-за уха заранее свернутую «козью ногу», раскурил ее, выпуская сквозь ноздри кислые, от которых у Лепехина сразу запершило в горле, клубы дыма.

Лепехин откашлялся, спрыгнул с печки и тихо охнул: нога. Кажется, тепло не помогло... Искося, морщась и щуря глаза, поглядел на связистов. Те стояли навтыяжку, не шевелясь. Тренированные ребята! Пройдет время, пообтешутся, солдатами станут. Хотя, может, это им вовсе не нужно: еще полгода-год, и война кончится.

Был Лепехин невысок ростом, но кряжист и подвижен. Чувствовалась в нем сила и гордая, умная мужская стать, приметы человека видного; еще сообразителен он был и ловок. И храбр. Храбр не огульным, неряшливым безрассудством, а спокойной, расчетливой смелостью. Он аккуратно обмотал ноги портянками из теплой трофейной байки, украшенной розовыми цветочками и крупными пепловыми горошинами по коричневому фону, натянул разношенные кирзовые сапоги, слегка притопнул, проверяя, не жмут ли, не тревожат ли больную ногу.

– Все, старшина... Готов.

– Пошли!



Ганночкин затушил о каблук «козью ногу», бережно сунул окурок за ухо – чем-чем, а вот табаком Ганночкин не любил разбрасываться, знал, что порою табачок бывает нужнее, чем хлеб. Он поднялся, распрямляясь во весь свой огромный рост, шагнул к выходу... В сером сумраке сеней обернулся:

– Вольно! Кар-ртежники...

На улице сыпало не переставая: ветер швырнул горсть сырого снежного хлопья Лепехину в лицо, разом остановив дыхание, в отчаянной пляске белые холодные молнии разрезали тусклое, неприбранное по весне небо, развалины разбитых во время последнего артиллерийского обстрела домов, темнеющую вдалеке гряду леса на множество рваных ломтей, на мелкие доли.

Лепехин отер лицо, отворачиваясь от ветра, сплюнул, прокричал Ганночкину:

– Зачем вызывает капитан?

Старшина не расслышал вопроса, он оглянулся и, прикрывшись ладонью от снега, громыхнул коротко:

– Повтори! – Добавил: – Уши забило. Этой вот... холодной... мерзостью.

– Зачем, говорю, я понадобился?

Ганночкин повел плечами.

– А бог его знает. Зачем-то надо... Может, «языка» брать? Хотя сейчас вряд ли...

Штаб бригады располагался в длинном, наполовину вросшем в землю доме, сложенном из толстых пузырчатых камней, изъеденных паводковым прибоем; когда-то в этом доме располагались продуктовые склады богатого купца-украинца Терещенко. Вывеска того времени даже сохранилась. Купец исчез в беспокойном двадцатом году, присоединившись к отступающей банде, вобравшей в себя и желтых, и зеленых, и синих, и прочую масть, исчез и больше не возвращался. А склады остались. И служат. И прослужат, крепкие, основательно сработанные, наверное, еще не один десяток лет.

– Здравия желаю, Грибов. На пост заступил? – старшина откозырял часовому.

Часовой поправил автомат на груди, приложил руку к ушанке.

– Заступил, товарищ старшина.

– Сам-то здесь?

– А кто это «сам»? – поинтересовался часовой.

– Естественно, кто... Комбриг.

– А-а... Я-то подумал, что сам – это товарищ капитан Лоповок. Товарищ полковник здесь.

– Капитан тоже не уходил?

– Нет.

Дверь склада открылась с долгим визгливым скрипом – сколько ее ни смазывали ружейным маслом, она все равно скрипела. На фоне ярко освещенного огнем печки складского предбанника Лепехин увидел неестественно прямую фигуру капитана Лоповка. Хмурое и строгое лицо с намертво припечатанным к нему командирским выражением никак не шло к хрупкой фигуре балетного танцора, какой обладал капитан.

– Заходите, Лепехин, – сказал Лоповок озабоченно. Посторонился, давая место в проходе. – Комбриг ждет.

Лепехин сбросил шинель и, не найдя гвоздя на дощатой стенке предбанника, сложил ее вчетверо, чтобы полы не подметали пыль, аккуратно пристроил на табуретке, стоящей рядом с узким и высоким, похожим на колонну питьевым бачком. Сверху водрузил шапку. Затем, оправив гимнастерку, шагнул вслед за капитаном в широкую, занимающую добрую половину склада комнату.

В углу, за столом, сидел командир бригады полковник Громов и, сжимая обеими руками металлическую кружку, как пиалу, пил чай. Расколотый надвое кусок сахара лежал рядом. Полковник кивнул вместо приветствия, размеренным четким движением поднес кусок сахара

ко рту, откусил – даже скорее отщипнул, чем откусил, приложился к кружке. Пил чай он неспешно, с придыханием – понимал полковник в стародавнем напитке толк и умел, судя по всему, отличать хороший настой, сделанный из смеси нескольких сортов, от пересушенной военторговской преснятины. Лицо у него было белое, немолодое, чуть оплывшее от недосыпания. Когда подносил кружку ко рту, было видно, как досиза выбритый кадык ползает поршнем вниз-вверх по тугой шее. Скосив глаза, полковник читал какую-то книжку в пупырчатом, похожем на кожаный, переплете.

Закончив пить чай, он осторожно отставил кружку в сторону, остатки сахара тщательно завернул в газетный оборвыш, положил рядом, потом прикрыл глаза тяжелыми полупрозрачными веками, задумался. Лепехин, стоя навывтяжку посреди комнаты, ждал. У стенки, привалившись к ней одним плечом, застыл Лоповок.

Пламя поигрывало неясными бликами на эмали полковничьих орденов.

– Вот что, Лепехин, – произнес полковник, не открывая глаз. – Ты у нас разведчик опытный, всему фронту известный...

У Лепехина мелькнуло – надо бы отчеканить: «Служу Советскому Союзу!» Хотя с какой стати? Ведь полковник не благодарность же объявляет.

– В тридцати пяти километрах отсюда есть деревушка. Маковки называется. В деревушке окопался ушедший вперед от нас полк Корытцева. Похоже, что он окружен немцами и держит круговую оборону. Наши наступающие части застряли. Погода видишь какая? Застряли... Тут другого выражения не подберешь. – Полковник устало потер переносицу суставом указательного пальца. – Связи с Корытцевым, к сожалению, никакой. Немцы осатанелые сейчас, делают ставку на войну тотальную, им одно важно – любой ценой задержать наше наступление. Тут им весна на подмогу пришла. Твоя задача – пробиться в полк – проползти, проскочить, прошмыгнуть – как хочешь, это вы, разведчики, умеете делать – и вручить майору Корытцеву пакет с приказом. На словах передашь, что мы ударим по гитлеровцам десятого марта в одиннадцать часов вечера. Десятого! В двадцать три ноль-ноль. Пусть приготовят встречный удар. Если попадешь к врагу, то... – Голос полковника вдруг сделался жестким, в нем прорезался металл. Он открыл глаза, посмотрел на Лепехина. – То пакет должен быть уничтожен. Все. Вопросы есть?

– Вопросов нет, товарищ полковник!

– И вот еще что, Лепехин... Попытайся проехать на мотоцикле, так быстрее. Пройдет мотоцикл? По снегу? Как считаешь?

– Пройдет, товарищ полковник. У меня – рационализация, мотоцикл-вездеход.

– Это что ж? – спросил полковник. – Переднее колесо ведущее и заднее ведущее? Как у «бантама»?

Лепехин молча, не по-уставному кивнул. Полковник заметил это, улыбнулся сухо, чуть выгнув края рта...

– Ну добро... Держись только в стороне от дорог. На дорогах сейчас много всяких недобитков. Фрицы к линии фронта стягиваются. Так что гляди в оба! И в бой, если что, не вступать! Ясно? Ну! – Комбриг вновь придвинул к себе кружку, сжал ее привычным жестом. Лепехин посмотрел на полковничьи руки – незагорелые, некрепкие пальцы были оплетены темными нитками жил, и ему вдруг стало жаль этого старого, доброго и совсем штатского человека, для которого нет ни отдыха, ни покоя; одни лишь бессонные ночи, – человека, которого фронт оторвал от любимого дела. Полковник до войны был историком.

– Успеха! – сказал комбриг буднично.

## 2

– Слушай, Лепехин, как считаешь, от чего у гуся нога красная? А? Отгадай. – Старшина Ганночкин копался в мешке с концентратами, подняв круглое, красное от натуги лицо. Ганночкин доставал из мешка брикеты в сальных от парафиновой пропитки обертках, один за другим: «Каша гречневая», еще раз «Каша гречневая», «Каша перловая», «Суп гороховый»... Все – довоенного еще выпуска.

Лепехин куском пакли счистил тавот с автоматных дисков, ответил, не поднимая головы:

– От крапивы!

– Молодец! Почти угадал! Гах-гах-гах! – Ганночкин оглушительно захохотал. – От колена она красная...

– От колена так от колена, – согласился Лепехин.

– А от чего утка плавает? – допытывался старшина. Отсчитав брикеты, он сложил их скибкой на дне небольшого картонного ящика, на вмятом морщинистом боку которого было выведено дегтярными буквами: «Одеколон “Ривьера”».

– А? От чего?

За «балаканьем», как старшина называл подобные разговоры, Ганночкин о деле не забывал; отложил в сторону не крупную сахарную головешку, помедлив, добавил еще половину, неровно сколотую с макушки; туда же, в общую кучу, поставил четыре банки со «вторым фронтом» – по одной на день и еще плоскую, похожую на портсигар банку редкой «гусиной печенки», – трофейную.

– От берега утка плавает... Вот так.

Ганночкин – из породы тех, кто поговорить любит, – хлебом не корми, а дай высказаться; за словом в карман он не лезет: и сразить в споре может, и отбрызнуть так, что никогда больше возражать не захочется, и умело, очень деликатно – дипломат, да и только! – заступиться.

Уже год Ганночкин возил за разведчиками прицепную трофейную колымагу – фургон, набитый бог знает чем – тут и тряпье, и продукты, и новенькие, в масле еще, ни разу не опробованные в бою немецкие «шмайсеры»; в фургоне можно было найти даже снаряды – имелось у старшины несколько штук, их разбирали в непогоду, выколупывали порох, крупный, кристаллами, на привалах им костры разжигали, а то и просто обогревались в морозные вечера. В разных переплетах побывала за этот год бригада полковника Громова – она теряла людей и орудия, попадала в страшные передраги, а ганночкинской колымаге хоть бы что – цела и невредима, даже краска на бортах не облезла. И порядок в ней внутри, на полках да в закутках, царил идеальный.

Когдаходишь в фургон, то обязательно задеваешь головой за здоровенное березовое полено – оно всегда раздражало Лепехина, – испещренное корявыми буквами. Крупно было вырезано: «Жалобная книга», это в самом верху, а ниже – помельче, но довольно разборчиво: «Добро пожаловать!» Отдельно, зацепленная за гвоздик, висела амбарная книга. Тяжелый переплет, плотные листы. На первой странице было написано химическим карандашом: «Один пожаловался, больше его не видели». Фамилия, естественно, придуманная – И. Шавкин. Зачем фамилия придумана – непонятно, можно было бы и своей подписаться. На другой странице – «Прошу включить в меню бульон с хрюкадельками». Глупо. Подпись, тем не менее, подлинная – В. Саляпин. Кроме того, точный адрес: первый взвод. Был у них такой боец, Саляпин, был – его зацепило осколком при освобождении Коростеня, маленького полусожженного украинского городка; Саляпина вместе с ранеными партизанами из бригады Маликова отправили в госпиталь, в Житомир...

Когда у старшины спрашивали, зачем ему амбарная книга с записями и вообще весь этот карнавал, он отвечал с серьезным видом:

– Для юмора. А то на войне народ черствеет. Забывает, что есть лекарство, которое продлевает человеку жизнь... Ага. Смех это лекарство.

Юморист старшина. Ему бы быть шефом «Крокодила» либо другого сатирического журнала, редактором – не меньше, а он возится с пшеничными да гречневыми концентратами, командует банками говяжьей тушенки, талант свой губит, в землю зарывает.

– Ну вот, товарищ сержант Лепехин. Продукт тебе весь. – Ганночкин стукнул ладонью по боку картонного ящика, в котором лежали брикеты концентрата, потом, словно вспомнив о чем-то, перегнулся ловко и в мгновение ока выудил откуда-то из тайника, расположенного в фургонной стенке, запыленную бутылку зеленого стекла «ноль пять», горлышко густо облитое сургучом, и осторожно, будто бутылка была хрупкой елочной игрушкой, поставил на стол. – Это для обогрева... Чтoб пальцы не синели.

Лепехин взглянул на старшину с усмешкой, будто дивясь его щедрости, Ганночкин перехватил взгляд, и крохотные довольные глаза его обметали морщины, целая сетка.

– Может, еще чего? – спросил он. – Излагай, пока я добрый.

Смахнул пальцами пот с лица, потряс ладонью, будто освобождаясь от чего липкого. На сапоги моросью сыпанули капли.

– Хватит?

Лепехин приподнял жесткие брови, свел их у переносицы.

– Хватит. – Подошел к порожку фургона, неловко, целя приземлиться вначале на одну ногу, потом на другую, прыгнул. Снизу крикнул: – Подавай свой продукт, старшина.

Ганночкин поднял ящик, сунул под мышку и, прижимая его локтем к бедру, осторожно, боком, стараясь не оступиться с ослизлых, обпаянных льдом ступенек, спустился на землю. Лепехин принял ящик, пристроив его на полурасщепленном сосновом чурбаке, начал сортировать продукты: отобрал три банки консервов, полдюжину брикетов, сунул в рюкзак, остальное оставил в ящике.

– Это не возьму. Лишнее.

– Ладно, – сказал Ганночкин зябко, ширкнул носом, в глазах у него отразилось недоумение. – Ладно. Знаешь что? – Он поглядел вниз, на головки собственных сапог. Поцелкал пальцами. – Еще я тебе телогрейку выдам. Под шинель наденешь. Теплее будет. Особенно ночью. Ночью мороз злее.

– Давай, Степан Сергеевич, – назвав старшину по имени-отчеству, откликнулся Лепехин. – От телогрейки не откажусь. А вообще ты меня как на Луну собираешь. По высшему разряду.

– Вернешься – отдашь. А не отдашь – отниму, – сказал Ганночкин, слезил в фургон, вышвырнул из теплой притеми ватник с остро блеснувшими на лету латунными пуговицами, погромыхал ступеньками.

– Ну, Иван брат Сергеевич, – он широко развел руки, будто собирался обхватить целую деревню.

– Иван брат Сергеевич – так не говорят. Говорят – Иван свет Сергеевич.

– Ага, – согласился старшина. – Ни пуха тебе...

– К черту, к черту... – Лепехин сделал шаг к Ганночкину, обнял крепко, подумал, что Ганночкина обнимать все равно, что слона, пристукнул ладонью по спине. – Нельзя объять необъятное.

Ганночкин же в ответ сжал сержанта так, что Лепехину небо показалось величиной в копеечную монету, в позвоночнике что-то хрумкнуло, а перед глазами заелозили электрические светляки. Здоров же мужик! Пушку бы вместо тягача ему таскать, а не крупу развешивать.

– Слушай, попрошу тебя об одном, Лепехин. Не откажи, а? Как там у Корытцева брат мой? Кузьма Сергеевич Ганночкин, ты знаешь... Посмотри, как он? Жив? Давно что-то от него ничего не поступало. Нет вестей и нет...

Старшина отступил на шаг, уперся сапогом в ступеньку фургона.

– Двигай... Вернешься – обмоем.

В маленьком амбарчике с продавленной крышей, пристроенном к боковине склада, был расположен штабной гараж. Лепехинский мотоцикл, марку которого затруднялся определить даже самый крупный фронтовой знаток мотоциклов капитан Лоповок, был «сборной солянкой»: рама от одной машины, колеса от другой, мотор от третьей, прицепная люлька от четвертой. Время от времени мотоцикл капитально ремонтировали, пробитые осколками и пулями детали заменяли новыми, железный коняга был пестр от этих деталей, смешон и нелеп... Лепехину несколько раз предлагали новые мотоциклы – и трофейный немецкий БМВ, и французский БСА, и американский «харлей», но он отказывался, предпочитал чинить старую машину. Слава об этом много раз латаном-перелатаном мотоцикле и его хозяине шла по всей армии – рассказывались легенды, порою такие, что были внове самому Лепехину; иногда солдаты, чаще всего незнакомые, из пополнения, смеялись, глядя на нелепый мотоцикл. Но Лепехин не обращал на насмешки внимания, только лицо его делалось холодным и мрачным, да в голосе появлялась раздражительная напористость.

Он сложил продукты в коляску, завел мотоцикл, тот послушно закашлял, зачадил дымом; Лепехин, выждав, когда прогреется мотор, выехал на дорогу...

На малом газу он пробирался вдоль разбитой тягачами колеи, стараясь не попадать в глубокие вдавлины колесами прицепной коляски – если увязнешь, не сразу выкарабкаешься.

Что же еще взять с собой? Проверить амуницию надо сейчас, потом проверять будет поздно. Все взял или что-то забыл?

Навстречу медленно полз «студебеккер». Лепехин свернул с колеи и съехал в снег. Мотоцикл заревел, прополз несколько метров по снегу, разрубая передним колесом корку наста, но сил не хватило, мотор зашелся в вое – Лепехин, пережидая, сбросил газ, остановился.

– Лопатку забыл, вот что, – сказал он вслух.

«Студебеккер» обдал вонючим масляным теплом и, кренясь из стороны в сторону, словно корабль на волне, прополз мимо. Лепехин, отвернув обшлаг шинели, посмотрел на часы – фосфорная точка секундной стрелки торопливо скользила по циферблату. Скоро три. Три часа дня. Стрелка пробежала один круг. Быстро бежит, зараза. Он выбрался на дорогу. Дальнейший путь прошел без приключений, и через несколько минут он уже сворачивал во двор дома. Мери с негодующим кудахтаньем выскочила из-под колеса прицепа и, размахивая редкими, с размочаленными концами крылышками, взлетела на закраину полуповаленного плетня. Слышно было, как в доме громко заливается патефон, певица с надрывом выводит тягучую, полную печали песню. Связисты продолжали пировать. Молодость, она и есть молодость. Не страшно ей ничто.

Лепехин заглушил мотор, постучал сапогом по покрышкам колес, проверяя их целость, надежность, потом пошел в дом.

В темноте сеней долго не мог нащупать ручку двери; наконец нащупал, потянул на себя и, вдруг почувствовав, что сверху на него что-то падает, молниеносно прижался к косяку. Мимо головы, почти у самого уха, пролетела наполненная водой кружка. Кружка эта была привязана бечевкой к дверной ручке, стоило ручку потянуть на себя, как бечевка тащила за собой кружку, и та, сорвавшись с дверного перекрытия, обрушивалась на голову. Старый фокус.

Кружка глухо стукнулась о порог, вода веером брызнула во все стороны, спорыми струйками потекла в едва заметную в сером сумраке ложбину, выбитую в земляном полу. Дружный, в несколько глоток, смех резанул уши.

Лепехин выглянул из-за косяка. Связисты разом умолкли. Словно и не смеялись. И вид у каждого сделался обиженно-детским, недовольным, плаксиво натянулись губы.

Сзади кто-то сипло кашлянул. Лепехин обернулся: в сенях с плохо освещенным и оттого плоским лицом стоял прыщавый связист, невыразительно мигая глазками-бусинками. Вот кого ожидала кружка с водой.

Лепехину враз расхотелось наводить порядок в этом детском саду. Он молча забрал сушившиеся на печке короткие, обрезанные по щиколотки катанки – в такие удобно засовывать ногу прямо в сапоге – и вышел на улицу.

Снег перестал идти. Воздух погустел, набряк влагой, над узкой полоской далекого леса показалась проволочная, словно обведенная по контуру, совсем незаметная на светлом, дневном еще небе, рогулька месяца...

### 3

Ночью Лепехина перебросили через линию фронта – под шум специально затеянного отвлекающего боя. Так под грохот стрельбы и провели... Вместе с мотоциклом.

В небольшом редкоствольном лесочке Лепехин попрощался с сопровождавшими его разведчиками...

Когда разведчики уходили, то старший группы лейтенант Гиндаев, молоденький еще, усы едва начали пробиваться над толстыми, постоянно шелушащимися губами, все оглядывался на Лепехина, круто вывертывая голову в ушанке-маломерке, поднимал прощально руку в двухпалой байковой перчатке. Лепехину еще долго в свете вынырнувшего из-за облачных лохм месяца была видна настороженная подвижная фигура старшего, потом месяц вновь заполз за тучи, и группа исчезла, а с нею исчезли и все звуки – теперь не раздавались ни треск веток, ни шорох сосновых лап, ни шелк ломкого от ночного мороза снега.

Лепехин вытащил из коляски автомат, повесил его на плечо дулом вниз, потом надавил каблуком на торчок педали, заводя мотоцикл; он ожидал, что тот будет капризничать, что остывший мотор не сразу затаит свою стрекотную песню, но мотор, порывистый и упрямый в другие разы, завелся, как говорят шоферы, с полуоборота. На ощупь, усиленно вглядываясь в едва подсвеченную месяцем темноту, Лепехин вырулил на старую, вырубленную еще до войны просеку, поехал вдоль нее. За лесом начиналось длинное, неровное от плохо запаханных ложбин поле, подрезанное с одной стороны дорогой, с другой – балкой – Лепехин помнил и поле, и дорогу по карте и преодолел это ровное место без приключений; потом шла деревушка – она была сожжена, вместо мазанок – неровно оплывшие, с закругленными краями останки; опасаясь встреч, Лепехин объехал деревушку стороной.

Дальше двигаться было нельзя – надо сориентироваться, оглядеться, не то ведь и заплутать недолго, и к фрицам в лапы угодить.

Километрах в пятнадцати от линии фронта он отыскал скирду, расположенную на взгорке, который огибала безлюдная, но хорошо накатанная дорога, решил заночевать – загнал в скирду мотоцикл, притрусил сверху, чтобы не было видно, сеном, сам забрался наверх и очень скоро заснул, прислушиваясь во сне к далеким редким выстрелам.

Во сне Лепехин видел длинную, как небо, степь, траву, густую, рослую – по пояс, видел сторожкие, пугающиеся даже шороха табуны лошадей. Низко над горизонтом висело солнце, от жгуче ярких, прямых лучей конские спины светились огнем, и трава светилась золотом, и небо; оно казалось бездонным и глубоким, словно море.

Над степью звенел жаворонок. Он как бабочка трепетал крыльями, будто застыл на одном месте, пел свою бесконечную песню, потом срывался с места и, пролетев несколько метров, опять застывал в песне.

Неожиданно в траве взметнулась пружинистая веревка – степная змея подняла голову, сделала стойку. Жаворонок – любопытная птица – замер на месте и петь перестал, и испуганно взглянул вниз. Глаза жаворонка встретились с глазами гадюки, и птица не смогла отлететь в сторону – ее приковал взгляд змеи. Потрепыхав недолго крыльями, привороженный жаворонок обессилел и упал. А над степью по-прежнему бездумно расстиралось прозрачное от горячего солнца небо. Беспечное и голубое.

Гадюка лежала неподвижно – длинная прямая палка с узловатым наростом посредине. Теперь она будет лежать недвижно, переваривая птичью тушку...

Во сне у Лепехина защемило сердце – оттого, что увидел степь и солнце, разглядел больших и малых птиц, жаворонка-порхыша, зверей, живущих около глазастых озер; еще больше ему стало невольно, когда он увидел во сне самого себя – угловатого, лобастого молчуна,

сидящего верхом на пегой злыдне лошади – он узнал нахрапистую кобылу – Мамайка! И неподвластная тяжесть наполнила его тело, закупорила легкие, сдавила горло.

Проснувшись, Лепехин долго вглядывался в ночную темь, сдерживая тревожное колотье в груди, потом зарылся поглубже в сухое, пахнущее прелью сено, ноги укрыл охапкой слежавшегося твердого пырея, разровнял охапку стволом автомата и вновь смежил веки. Хорошо, подумал он, что взял у старшины Ганночкина телогрейку, не отказался – в одной шинели-то было бы худо... Холод – он что голод – не тетка.

Ощущение какой-то неосознанной строгой вины охватило его. Где-то далеко протрещала автоматная очередь, стрекот был похож на звук рвущейся бумаги, потом солидно выступил пулемет – крупнокалиберный, гулко, парой, ухнули полковые минометы – Лепехин вначале улавливал эти звуки, фильтровал их, запоминал, но потом сон сморил его, и он погрузился в тяжелое бесцветное забытие.

Очнувшись оттого, что странное чувство вины не прошло, и еще от ощущения, будто рядом кто-то находится... Было тихо. Утреннее небо, мглистое, с плотной клочковатой наволочью, выгнулось над землей, ветер посвистывал среди сохлых остьев полыни и репья. Лепехин шевельнул рукой и чуть не вскрикнул от боли, это сон сумел так сковать его тело; усталые мышцы болели.

Он тронул ствол автомата, отметил, что сегодня тепло – температура нулевая, а может, даже за нуль, на плюсовые отметки заползла. Если сегодня он выйдет на полк Корытцева, то завтра – если, конечно, повезет, – вернется в бригаду. Если, конечно, повезет.

Влево от скирды тянулась плоскобокая, вырастающая из холма горка, которую Лепехин ночью не заметил, голые склоны покрыты редкими, остекленевшими с краев, выветренными пластами снега, вершину венчает несколько молоденьких елочек. Торжественная зелень их была целомудренной и приторной – такие елочки изображены на рождественских открытках, которые присылали из глубины Германии немецкие фрау со словами поздравлений своим «героически сражающимся на Восточном фронте с красной коммунистической заразой» отцам, мужьям, братьям, сыновьям.

За первой горкой полукружьем тянулась вторая, тоже голая, обдута ветрами, с льдистыми проплешинами. Что за ней – не разобрать. Справа, примерно километрах в трех от стога, по дороге шла колонна автомашин, это насторожило Лепехина. Машины были грузовые, тупорылые, с закрытыми фургонами. С чем машины – не различить, далеко до них – они могли и подкрепление перебрасывать, продукты везти, могли и порожняком идти – попробуй, различи. От дороги к скирде – хороший подход: две прочные, еще по зиме проложенные колеи, притрушенные клочками сена, двумя темными полосами пересекали поле.

Вдруг до Лепехина донеслось легкое, чуть с простудцей, посвистывание, беззаботное, довольное и едва слышимое – настолько едва, что его можно спутать с голосом ветра. Потом раздалась песенка. Тоже не бог весть что – тихая и бессловесная... Кто это? Пока не узнать. Кто-то добродушно, с одышливыми переборами мычал, подгоняя мычание под нехитрый мотив. Лепехин беззвучно переложил к закраине мешавшую ему охапку сена, осторожно заглянул вниз. Никого. Мычание раздалось сбоку – и тут по бесцветности звука, по однотонности, лишенной переходов, Лепехин вдруг понял – чужой. Краем глаза сержант заметил, что колонна тем временем остановилась, две машины вырулили из очереди грузовиков, неловко перевалили через затвердевшие ухабины кювета и направились по колее к стогу.

Надо было уходить. Через бугры. Иначе накроют. Как в ловушке. Хотя была у него надежда – может, машины... чем черт не шутит?.. Может, корытцевского полка? Вон сколько трофейных грузовиков в наших частях!.. Но машины были чужими, гитлеровскими: на заляпанных грязью бортах серели кресты.

В это время рядом показалась голова в ватной красноармейской шапке с опущенными вниз ушами. Завязки были оторваны, придавая владельцу залихватский и одновременно жал-



кий вид. И глаза... Они были немигающими, светлыми до льдистости, с пивными ресницами – типичные не наши... И погон на шинельке вздернулся мостком, немецкий, с плоским желтым кантом. В глазах немца заплескался страх – он оборвал мычание, приоткрыл рот – в углах вспухли пузырьки слюны. Лепехин увидел язык, остробокий, с бугристыми венами. Сколько надо времени, чтобы успеть схватить автомат, оттянуть затвор и выстрелить – немного, но этого немного у Лепехина не было, он не успевал, как не успевал и немец – у того автомат был подхвачен рукой под ремень, как обычно берут оружие, когда ползут по-пластунски.

– Русиш!.. Зольдат-н!.. – шепотом, словно еще не веря тому, что видит, проговорил немец, умолк и вдруг крикнул изо всей мочи, оглушая и Лепехина, и самого себя: – Русише зольдат-н!..

Лепехин не помнил, как нащупал автоматный ствол, сразу ставший липким от погорячевшей ладони. Немец проиграл, мелькнуло в голове, проиграл, выкрикнув эти панические слова, – потерял малые, самые малые доли секунды, а от них, малых долей, сейчас зависит все. Он сцепил пальцы на стволе и коротко, всем плечом, без разворота, ловя искры, сиганувшие из глаз, гася злостью боль, ударил немца автоматом, как дубинкой. Удар пришелся в основание шеи, в самый угол, где находится выпуклость ключицы; немец враз обмяк, прикивая головой к скирдяному боку, словно собираясь зарыться в сено, схватился рукой за пук пырея, но не удержался, медленно поехал вниз. Лепехин рванул автомат к себе, ладонью оттянул затвор. Оглушенный немец упал боком на свежую прогалину под скирдой, откатился к небольшой острроверхой копенке, стоявшей отдельно.

Лепехин рывком перебросил тело к краю скирды и, перемахнув через закраину, спрыгнул вниз. На ходу больно задел коленом за что-то твердое – наверное, за ссохшийся земляной ком. Присев на корточки, он охнул от боли, стиснул зубы. Если б у себя был, то пришлось бы в санбате эскулапам показаться. Боль сильная. Может, и придется показаться. Если, конечно, вернется... Он вцепился пальцами в угловато-костистую коленную чашечку. Несильно сжал ее, ожидая, когда стихнет, отступит боль.

– До свадьбы все пройдет. Вся хлябь, – пытаюсь успокоиться, машинально пробормотал он хриплым, перезрелым от боли голосом.

Наверное, завести мотоцикл он не успеет – машины уже совсем близко, отчетливо слышен их рев; остается одно – бегом на горку, поскольку та прикрыта скирдой и не видна со стороны дороги, на горке – елочная гряда: этой самой грядой он и уйдет. Лепехин, выпрямляясь, подхватил автомат, но не успел сделать и шага, как услышал громкое:

– Хенде хох!

Он резко повернулся, увидел глубокий темный глазок «шмайсера», вдавленную стволу, направленного на него, – черную, четко обрисованную точку, из которой через секунду-две, если он сделает хотя бы одно движение, выплеснется огонь. Немец, в чьих руках находилась сейчас его, лепехинская, смерть, жизнь его, был длинным, молодым, розовощеким, сытым, щеголеватым; опрятная офицерская шинель была распахнута на груди, хромовые сапоги, несмотря на весеннюю грязь и ядовитый талый снег, начищены до лакового блеска – хоть смотри. Он стоял, прислонившись плечом к углу скирды, как к дверному косяку, небрежно согнув одну ногу в колене.

– Хенде хох! – повторил немец зло и повел стволом «шмайсера» вверх. – Више, – сказал он ломано, по-русски. – Хох!

Лепехин медленно поднял руки, ощущая привычную тяжесть ППШ, который он держал в правой. Немец хохотнул весело и зло, ткнул «шмайсером» вперед – автомат тотчас выбило у Лепехина из руки, а в шею и в щеку впиалась мелкая деревянная щепка; автомат с расколотым прикладом отлетел в сторону, воткнулся стволом в снег. Полустертая плечевая пластина, привинченная к торцу приклада, заблестела остро и недобро. Лепехин сощурился с горечью, слизнул языком изморось, выступившую на губах. Немец еще раз хохотнул – на этот раз с откры-

венным удовольствием. Что такое меткая очередь с живота, Лепехин хорошо знал – гитлеровец был первоклассным стрелком.

– Крю-гом, – тщательно выговаривая каждый слог, скомандовал немец по-русски. Лепехин сощурился, посмотрел поверх немца, в боковину скирды, где ловко, без сбоев, вскарабкалась на закраину мышь – крохотный серенький комочек, совершенно беззаботный, незаметный, позавидовал ей, повернулся. Будет стрелять в спину? В лицо испугался? Паскуда, недобиток, выкормыш...

За стогом, теперь совсем уже рядом, натужено взрывывали моторы поднимающихся по скользкому склону машин; когда колеса пробуксовывали, попадая на обледенелые проплешины, звук этот становился вязким, высоким, с жальцой... Лепехину сделалось тоскливо, он ощутил, представил почти зримо, как из-под рубчатых скатов веером вылетают колючие брызги снега, крошево мерзлой земли, перемешанное с липкой весенней жижей; такое крошево хлещет больно, до крови, если не успеешь увернуться. Но вот звуки унеслись куда-то под облака, исчезли разом – машины, судя по всему, застряли, моторы, как по команде, заглохли. Через секунду взвыл и тут же смолк стартер, и Лепехин остался один на один с тишиной, пронзительной, безумной, полой. С такой пустой тишиной Лепехин был уже знаком. Однажды, когда разведка подорвалась на минном поле под деревней Кличино и остался в живых только он, опустошенный, покореженный, оглушенный, не соображавший, где небо, а где земля, где свои, а где чужие, когда казалось, что пора уже ставить точку и на этом подвести счеты с жизнью, он на себе испытал, что такое мертвая предсмертная тишина; она поразила его, смяла тяжестью своей, предрешенностью, неизбежностью быстрого, но мучительного конца. Он выжил тогда – наперекор всему выжил. Один, ощупывая обмороженными, переставшими слушаться руками каждую кочку минного поля, переполз лощину, вышел к своим. С собой он вынес планшетку немецкого офицера-связиста, в планшетке, под целлулоидом, находились важные штабные документы. Из-за них-то и ходила в разведку группа, из-за них и полегла... Навсегда, на всю жизнь Лепехин запомнил ту тревожную, кричащую всеми, что только существуют на свете, криками тишину.

Через полгода после трагедии на минном поле под Кличином мальчишка, попавший к разведчикам из необстрелянного, снятого под бомбежкой с эшелона пополнения, разбирая в землянке гранату РГД, нечаянно уронил ее на пол. Не все даже обернулись на стук. Ну, упала граната, да мало ли гранат случайно падает на пол! Рядовой случай. Только один Лепехин сумел заметить во мраке земляночного тепла бледное как бумага лицо паренька, растерянно сведенные в одну точку глаза. Из гранаты была выбита предохранительная чека... Тускло поблескивая, РГД лежала на земляном полу; большая, безобидная на вид, с надетой на ствол рубчатой осколочной рубашкой. А над ней наискось, растворенная, совершенно плоская, приклеенная к стенке фигура растяпы новобранца. Лепехин прыгнул на гранату прямо с места, с колченогой расхлябанной табуретки. Долго потом еще вспоминали этот прыжок, чемпион мира так бы, наверное, не прыгнул. Лепехин схватил гранату и, крепко сдавив ее ладонями, притиснул к животу. Распластался ничком на полу землянки. От такого прикрытого взрыва никто не пострадает. Тогда тоже исчезли все звуки, и наступила знакомая уже тишина; он ждал секунду, вторую, третью, ждал, что вот-вот землянку всколыхнет грохот взрыва, навсегда исчезнет вечернее тепло, сумрак окрасится огнем. А потом, еще не веря в счастливый исход, он медленно, неуклюже поднялся с пола, крепко сжимая сведенными от судороги руками рубашку РГД, – граната не взорвалась, не сработал запал. Случай! Несколько раз он сталкивался потом с этой смертоносной тишиной; война есть война, а на войне, как говорят тыловые шутники, иногда стреляют. Конечно, он не заговоренный, когда-нибудь наступит конец, но где находится эта черта, где проходит рубикон, он не знал. Да и не должен был знать и даже на догадку не имел права. И все же ему не верилось, что конец этот наступит именно сейчас.

Он ощутил холодный пот в подмышках, боль оттого, что тяжелые соленые градины, примерзая к коже, стягивали ее. Вдохнул глубоко, почувствовал сырость под мышками, в ложбине груди. Смерти он не боялся, нет. Было другое – обида. Обидно, что попался как кур в ошип. Шли секунды. ППШ находился буквально рядом, рукой можно дотянуться – из серого пористого сугроба торчал расщепленный автоматный приклад. Вот оно... Второй раз за сегодняшний день Лепехин был в проигрыше: первый, когда он проворонил и пропустил к стогу гитлеровца, второй – сейчас. Но с первым проигрышем он все же справился, а со вторым? От оружия его отделяли доли секунды, считанные мгновенья и коротенький – раз плюнуть – отрезок земли: метр, полтора, от силы два... Отрезок земли, цена которому равна сейчас целой жизни.

Немец медлил, не стрелял. Лепехин расслабился, сделался ниже ростом, он стал ощущать вес собственных мышц, прикинул, куда пойдут первые пули автоматной очереди: выходило – полукругом, от места, где он сейчас стоит, через некрупный притрушенный сенной крошкой отпай к автоматному прикладу. Почему медлит гитлеровец, почему молчит? И сколько еще он будет медлить, сколько будет молчать? Пять секунд, десять, пятнадцать?

Лепехин сгорбился еще больше, совсем вставая в снег, в тот же миг он оторвался от земли, вытянулся, далеко вперед выбросив руки и широко растопырив пальцы, прыжок этот, происходящий в судорожном безмолвии, вызывающем тошноту, длился бесконечно долго, за это время можно было прожить целую жизнь, может быть, даже не одну – взгляд его был нацелен на пластину ППШ; и одновременно Лепехин каждой своей мышцей, каждой клеткой тела ожидал, что вот-вот раздастся автоматный стук, вот-вот...

Он ухватился рукой за приклад, рванул его к себе, тут же всей грузнотой тела ощутил с нелепой болью, что проваливается под снежный пласт... Это сковало движения. Он притиснул ППШ к себе, потянул рычаг затвора, тугой, знакомый, тот не подался, он был взведен еще наверху, на стогу; несколько раз перевернулся в снегу по инерции, зарываясь лицом в жесткий, пахнувший поломом и мышами наст, оцарапывая нос, щеки, подбородок. Потом выплюнул набившееся в рот мерзло-жгучее крошево, выбросил перед собой ствол автомата, ловя на мушку фигуру врага, и в тот же момент поразился странной его позе: у немца были безвольно опущены руки и круто запрокинута голова, словно он собирался молиться. Автомат валялся в куче сена, вороненая ручка приклада была похожа на любопытный птичий глаз, она поблескивала, угольной чернотой выделяясь на ржавой боковине скирды.

– Эй! Вставай! Не курорт же? – раздался вдруг голос, негромкий, очень спокойный – неестественно спокойный! – и едкий. – Советую поскорее ноги к рукам приспособливать.

Лепехин, чувствуя, как из него уходит тепло – может быть, последнее тепло жизни, – взметнулся в снегу, увидел, что в стороне, небрежно притулившись к круто выбранному, с навесью, срезу скирды, стоит парень в кубанке и ватной телогрейке, перепоясанной офицерским ремнем. На ремне – пустые ножны от немецкого кинжала – такие кинжалы носят эсэсовцы, больше никто, – знакомые Лепехину изящные ножи с затейливо выгравированной надписью: «Дойчланд юбер аллес» – «Германия превыше всего». Парень, взявшись за ножны рукой, потянул их, кожаные помочи лопнули с тугим хрустом, он сорвал с ремня уже ненужный теперь футляр и широким, вроде бы как на сцене отработанным жестом отшвырнул от себя.

Лепехин отплюнул изо рта серый снег, провел ладонью по мокрой, со свалывшимися волосами голове – шапку он потерял, где-нибудь рядом в снегу лежит, надо поискать, но время, время, время! – поднялся.

– А ты, голуба, телишься долго.

Лепехин обтер рукой лицо, не сводя настороженного взгляда со своего неожиданного спасителя.

– Быстрее вон к тем елкам! Не успеем – встретимся на облаках!

– Успе-ем! – прохрипел Лепехин; пошатываясь, он разогнулся, потом резко, в три скачка достиг скирды, оттолкнул ногой вцепившегося руками в сохлые стебли щеголеватого немца, безгласно копнул автоматным стволом сено с приставшими к нему пятнами крови.

– У тебя что, в тех машинах друзья едут? А? – выкрикнул парень.

Лепехин, задыхаясь, хрипя, – еще не отошел от прыжка, от смертной униженности, – расшвырял ногами сено, в притеми блеснуло гнущее дышло – руль мотоцикла, ухватился за него обеими руками, потянул из скирды. Отделилась большая охапка, медленно рухнула на Лепехина, запорошив пылью глаза.

– Ну! Помоги! – закричал он резким голосом, наваливаясь на мотоцикл всем телом. – Че стоишь?

Парень в кубанке мигом понял, он даже послабел лицом, с него стерлась насмешливость: упершись каблуками сапог в твердый низ скирды с проламывающейся ледяной коркой, помог вытащить мотоцикл.

Лепехин выбил из горла мокроту. Только бы завелась мотоциклетка сейчас, только бы завелась... Он с силой ударил каблуком сапога по рогульке стартера с напаянной на штычок резиной, но остывший за ночь мотор, как его осторожный Лепехин ни укутывал, ни утеплял, лишь слабо чихнул. Лепехин приложился к педали еще раз и еще, потом крикнул парню, неподвижно стоявшему сзади:

– Чего замер, как статуя, толкай!

Парень кинулся к коляске, послушно уперся в нее руками; Лепехин – тоже, толкая одной рукой мотоцикл в бензобак, другой в руль.

– Ну-у... Быстрее! – запаленно выдохнул он, осерев зубы.

Мотоцикл недовольно чихнул один раз, звук был схож с пистолетным хлопком, засопел, потом хлопнул еще раз, другой и третий...

– Э-э-э! Ду-убинушка! – вдруг отчаянно, не к месту закричал Лепехин, вспомнив неожиданно, как техмастер ПАРМа, полуглухой сержант дядя Ваня Усов называл неисправные машины «дубинушками».

– Выручит – памятник поставим!... – Парень в кубанке по самые колени погрузился в настил, под ним, казалось, сама земля затрещала.

Колеса вязли в снегу, медленно, слишком медленно вспарывая его... Но вот переднее всползло на лысую, твердую, хорошо обдутую ветром поверхность бугра, и они побежали, толкая мотоцикл из последних уже сил, задыхаясь, готовые распластаться, ослабшие, с лицами, залитыми потом. Тут мотоцикл завелся, обволокся вонючим бензиновым смрадом, и Лепехин на ходу уже дал полный газ, переключая рычаг скоростей.

– Прыгай! – не оборачиваясь, крикнул он парню в кубанке.

Тот, неуклюже взрыхлив ногами снег, упал сверху на прицепную коляску, ухватился руками за козырек сиденья. «Шмайсер», соскользнувший у него с плеча, задевал стволом за спицы, и те с тупой дробью бились о ствол в поспешном беге.

– Автоматом спицы вырубешь! – прохрипел Лепехин.

– Не-е... Раньше смерти не помрем, – натужено, со злой одышкой пробормотал парень в кубанке и подтянул «шмайсер» к себе. Они одним махом взлетели на макушку бугра, переваляли через него и только тогда поняли, что спаслись, – именно в этот момент один из грузовиков показался из-за скирды... Но они уже форсировали макушку... Грузовик, развернувшись, остановился у небольшой копенки, где лежал оглушенный немец, и одинокая автоматная очередь, ударившая им вслед из кузова, вреда не причинила, она лишь состригла несколько лап со смолистых елочек, росших на самом бугре и по ту сторону его...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.